

А. А.  
БЕСТУЖЕВ-  
МАРЛИНСКИЙ

*Сочинения*



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Мореход Никитин[1]

Быль

A sail, a sail – a promised price to hope!

Her nation, flag? What speaks the  
telescope?

She walks the waters like a thing of life

And seems to dare the elements to strife.

Who would not brave the battle fire,  
the wreck,

To move the monarch of her people's deck?[2] Byron

\* \* \*

В 1811 году, в июле месяце, из устья Северной Двины выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, что в 1811 году в июле месяце, точно так же, как в настоящем 1834 году, до которого мы дожили по милости божией и по уверению календаря академии, старушка Северная Двина выливалась огромный столб вод своих прямо в Северный океан, споря дважды в день с приливом, который самым бессовестным образом вторгался в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благородные струйки в простонародный рассол, годный разве для трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной совести, что карбасом в те поры, как доселе, называлось судно шагов восемнадцать длиннику, на шесть ширины, с двумя мачтами-однодревками, полусшитое корнями, полусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не полагалось, а на корме и на носу небольшие навесы образовали конурки, где, на кучах клади, только русская спина, и только одна спина, могла уютиться, скрутясь в три погребели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоизволите, в середину судна белый свет и бесцветная вода сверху и снизу, справа и слева, могли забегать и проживать безданно, беспошлинно. Посудина эта, или, выражаясь учтивее, этот корабль, – а слово «корабль», заметьте, произвожу я от «короба»[3], а короб от «коробить», а коробить от «горбить», а горб от «горы»: надеюсь, что это ясно; какие-то подкидыши этимологи производят «корабль» от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом грецких орехов; я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских корнях, за исключением биквадратных, которые мне пришлось не по зубам, а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю, – итак, этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на лодию, или ладью, или лодку древних норманнов, а может статься, и аргонавтов, и доказывал

похвальное постоянство русских в корабельной архитектуре, но с тем вместе доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими карбасами наследовали от предков своих славено-руссов отвагу, которая бы сделала честь любому hot pressed, силой завербованному моряку, танцующему под свисток man of war[4] на лощеной палубе английского линейного корабля, или спесивому янки[5], бегущему крепить штын-болт[6] по рее американского шунера.

Да-с! Когда вздумаешь, что русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике[7], на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плавал, хаживал на Грумант, – так зовут они Новую Землю, – в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не напелись, и в колокола не назвонились, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебрицким да оттуда на перевал в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бразилии перетолкнулись в Камчатку, а оттолк ведь на Ситку[8] – то рукой подать!» Вот этаких удалцов подавай мне, – и с ними хоть за живой водой посылай! Океан встрелся? Океан шапками вычерпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ледяные горы? Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударыня Невозможность запропастилась? Выходи, – авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авось-масти, тому лес не лес, река не река: куда ни поскочут – дорога, где ни обернется – простор. На кита? – так на кита – экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? щелком уьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уже не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскатать его трудно; зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем и так; как-нибудь промаячим!» – доберется он до «нешто, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, расступитесь: стопчет и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи о бессмертных часах с кукушкой, о влиянии родимых макарон на нравственность и о воспитании виргинского табаку[9], статьи столь пламенные, что их невозможно читать без пожарного камзола из асбеста, – и вы убедитесь, что литературные гении – самотесы на Руси так же обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы учнее ученых, ибо довелись, что науки вздор; что пишем мы благоднее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла.

Но к делу. В 1811 году еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбный народ в реках русских, и потому двинские рыбки безбоязненно высывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как смоль карбас и тех, которые им правили. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, щук: несмотря на архангелогородскую соль и непривычное ей путешествие в розвальнях, слог этой щуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок[10]; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.

Река, – рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они нисколько не следуют сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее, – река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов, и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола[11] до

устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодой морошки...

– Отличное противоскорбутное[12] средство! – замечает мой приятель, медик. – Природа помещает всегда противудие вблизи яда; как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых [13] бочек.

...Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы...

– Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу, – говорит один женатый помещик, – потому что русские ситцы-самodelки точь-в-точь морошка по болоту.

Рыба сморкает нос и продолжает:

Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии...

Он, – то есть журавль, а не ученый, – втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пескаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательней людей.

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения. «Лягушек не лягушек, – скажет он, – а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненнее Несторовой[14], так что сам барон Кювье[15] не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постояннее китайцев в своих мнениях: рождаются себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий[16]; и, в-третьих, не заводят в старом море юной литературы».

Судя по хладнокровию, или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, пускались в шумный бурун, образованный борьбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет двадцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и борода чуть-чуть закудрявилась, на щеках румянец, обещавший не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от сам-девять сатаны, – одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.

По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары[17], а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель[18], вздернутый сверх рейкового паруса, он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная борода была в явном разладе с кургузым матросским платьем: явление странное всегда и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Брандта[19] и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли терзать ее, море вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай заедать в блок или в захлест каната, но владетель ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала, и она в природной красе, во весь рост расстилалась по груди и по плечам упряма. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплескивал, то есть страшивал, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками

шкот[20], угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытною чертам, по любопытству, с каким поводил он вокруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удостовериться, что он не просоленный моряк, новобранец, только что из села.

На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, коренастый мореход с физиономией, какие отливает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» – и опять поплевывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом, – работать, когда нужно, спать, когда можно.

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законным хозяин карбаса, вместе с грузом, и временный командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по сердцу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году возраста, он, как большая часть удалых ребят Архангельской губернии, нанялся юнгою на английский купеческий корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкиперов[21] всех наций и побранки на всех языках. Наскучив бесприютною жизнью матросскою, он пристал к истинно почтенному классу биржевых артельщиков, людей испытанной честности, трезвых, деятельных, смышленных, и потом взят с хорошим жалованьем в контору одного из богатейших иностранных купцов Архангельска. Через шесть лет он был уже в состоянии покинуть чужое гнездо. Его томила охота отведать своего счастья, поторговать на свое имя, – и вот он купил и снарядил карбас, – и вот он теперь уже в пятый раз, в другое лето, пускается в море.

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич – это было его имя – не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю, – да и чего я не знаю? – не хочу таить ее за душой. Он – в добрый час молвить, в худой помолчать – задумал жениться. Дочь его соседа, также архангельского мещанина, как он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плавателю. Его воображение, изощренное морским воздухом, и во сне ничего не грезило свежее, умнее и достойнее этой русокосой красавицы. Ему всего более понравилось, что она порядком отбояривала от себя молодых флотских офицеров, которые, сверх обязанностей по службе, берут на себя образование молодых девушек во всех портах пяти частей света. Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою зазную к отцу ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, давно стакнулся; и хоть я не был свидетелем, да уже на свой страх говорю вам, что молодежь моя променяла между собой не одну клятву любви и верности с приложением взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве – потаенные сделки.

Савелий расчувствовался; упал на колени перед отцом Катеньки, просит благословения.

Старик отец погладил его по голове и поднял; погладил себя по бороде и сказал:

– Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, ты смышленный и честный парень: спасибо, что пришел ко мне прямо, без свах, и тебе я скажу прямо, без обиняков: ты мне по душе, я не прочь породниться с тобою; однако...

Ох, уж мне это «однако» вот тут сидит, с тех еще пор, как учитель хотел было, по его сказам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня... Однако ж оставим это «однако».

Савелий, не смея дохнуть, стоял перед стариком, высасывал глазами догадки из его лица, но слово «однако», произнесенное с такою расстановкою, что между каждым слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распилито его сердце пополам, и опилки брызнули во все стороны.

– Од-на-ко (после ко две черточки), – произнес старик и почесал в затылке, потому что затылок есть чердак человеческого разума, в котором сваливают весь хлам предрассудков, всю ветошь нравоучений, колодки давно стоптанных мнений и верований, битые фляжки из-под воображения; или, лучше сказать, он – гостинодворская темная задняя лавка, в которую обыкновенно заводят приятеля-покупателя, чтобы сжить с рук полинялый, староманерный товар. – Однако, Савелий Никитич! ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней приданое не рогато[22]. Я и сам с копейки на копейку перепрыгиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сыновья подростки. Опять и дочери своей мне не хочется видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться. Впрочем, вокруг Катеньки, сам ты известен, женихи словно хмель увиваются.

«Пропала моя головушка!» – подумал Савелий.

– Не в укор тебе будь помянуто – покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: благодаря мичманам проторговался, поплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат Савелий! Имя твое знаю я, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне как на духу: есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись, да себе на прожиток и детям на зубок придобить?

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои аттестаты, выложил тысячу рублей чистогану, да еще тысячи на полторы квитанций купленным товарам: это для мещанина не безделица.

– Притом я имею суднишко и кредит, – сказал он, – ношу голову на плечах и благодаря создателя не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в Спасово заговенье[23] опять пуцусь. Что ж, Мироныч: аль другие-то лучше меня? Позволь!

– Ну, Савелий, руку! Только свадьбе быть после Спаса. Ты наперед съездишь в Соловки да соберешь копейку на обзаводство; а то с молодым женой ростаням конца не будет. Не поперечь мне, Савелий, у меня слово с заклепом.

– Это очень хорошо! – сказал Савелий. «Это очень плохо!» – подумал Савелий.

Но делать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образом, обручили, а между тем, покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да пели, – между тем, как отец и мать ее пили да плакали, карбас Никитина снарядился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, уж на плече, уж расправляла крылья, чтоб улететь, а наши милые, или, как выражаются архангелогородцы, «бажонные», обрученники о том и думать не думали. Дядя Яков принужден был вытащить жениха от невесты волоком. Попутный ветер казался ему самую противную погодой; но ветер пересилил любовь. Савелий выпил последнюю каплю наливки, сорвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему была капля, поцелуй еще слаще; век не расстаться бы с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в карбас, цепь с громом скользнула со сваи, карбас отчалил.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженого, махая белою рукой; сердце ее вещевало не на доброе; она залилась слезами и пошла домой, вытирая их миткалевым [24] рукавом своей сорочки. С Савельем было не лучше: покуда видна была Катя, он оглядывался, до того, что чуть шеи не вывихнул, а потом взгляды его ныряли в воду, словно он обронил туда свое сердце, словно он с досады хотел ими зажечь струю-разлучницу. И наконец переполненный горечью сосуд пролился: слезы брызнули из глаз бедняги в три

ручья, – и именно в три, потому что две струйки сливались у него на носу и катились вниз рекою, точь-в-точь как Юг и Сухона образуют Северную Двину. Это, однако же, облегчило Савелья; он отдохнул; доброе солнышко так весело взглянуло ему в очи, что он улыбнулся; ветер спалнул и высушил даже следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу было печалиться. Впереди его – золото, назади – любовь!.. Правда, между этими оконечностями лежали две бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каперов[25], – тогда с англичанами была война[26], – да ведь бог не без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему было с морем переведываться. Пять часов пути и шестьдесят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело пускался в бурун, разграничивающий соленую воду от пресней.

И шибко, со всего разбегу, ухнул острогрудый карбас в бой шумящего, плещущего бара, – так шибко, что брызги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с головы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскался, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом, стремглав, промкнул сквозь водяную гряду. Через пять минут он гоголем плыл уже по морю, которое с ропотом наступало на берега.

– Что, Алексей, – спросил новобранца Савелий, усмехаясь, – аль тебе не любы крестины морскою водою?

– Хороши, – отвечал Алексей, вытирая лицо, – только без каши и крестины не в крестины.

– Погоди, брат Алеша, мы тебя в соленой купели выкупаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, – помеси да и в рот понеси, – кушай да похваливай. Захочешь ли брат – брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой некупленные, немереные – пей сколько в душу войдет.

– Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка, – лукаво отвечал Алексей.

– Ты в море гость, мы хозяева, – сказал Савелий, – а гостей потчуют не по летам.

– Однако, – молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон, – не придержать ли нам на вечер-то вдоль берега? Что-то очень парит: словно пыль пылит над тундрою. Подыметесь, не ровен час, разыграй-царевич – так и нам в открытом море без беды беда придет.

– Волка бояться – в лес не ходить, дядя Яков! – возразил Савелий. – Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его – так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест заберемся, так уж по ветер-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздумается. Небо чисто.

– Нешто! – сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.

– Вестимо, так! – сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплеывал в морс. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы, покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.

День шел в гости к вечеру. Прибрежье никло; островок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался, и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва видную; вал залпеснул и эту черту, – прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимает теперь утлое судно. Только вольный ветер да рыскучие волны напевают ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.

Не знаю, случалось ли вам испытать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой

стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоко-настроенною организациею и на людях самых необразованных, намозоленных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопают струна этого сердца. Грудь становится больно и легко невообразимо!.. Корабль бросается в бег; над головой вьются морские птицы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе – о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона[27] в пучине дали, последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже неземная, не земляная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик двух миров, двух существований, развитие бесконечного из почек ограниченного, чувство, не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, диез[28] из октавы кончины.

И неслышно природа своей бальзамическою рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвеивает прочь думы-смутницы. Оно яснее, хрусталеет, – как будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестью, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное, святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнью. О, если б я мог вымолить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! – я бы...

«Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов», – говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать через главу: «Да где ж он? Да что с ним случилось? Да не убит ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»

«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, г. Марлинский, потому что – извините мою откровенность – я уже не раз и не втихомолку зевал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хоть бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелья за вихор, минуя брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания».

Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, проколотого навывлет, – самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля – читать или не читать меня; моя – писать как вздумается.

«Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш».

Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостью за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, – я вас предупреждаю. Перо мое – смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да, верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я



так и делаю: бросаю повод и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрянул через ограду, переплыл за реку – хорошо; не удалось – тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскочил по простору, целиком, до усталости. Надоели мне битые укаты ваших литературных теорий chaussees[29], ваши вековые дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне, ваши мартингалы[30], шлих-цигели и шпаниш-рейтеры[31]; бешеного, брыкливого коня сюда! Степи мне, бури! Легко я мечтаю – лечу в поднебесье; тяжко ли думами – ныряю в глубь моря...

«И приносите со дна какую-нибудь ракушку».

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желаю знать: купец вы или испытатель?

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может статься, двуличный, наследственный: он никак не хочет назваться купцом. Опять он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие вживе, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они напильничают все это на остроумие и выставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду как золото, впиваются в души как лезвие и потом – милости прошу! – все ваши тайны вынесены уж на толкучий.

«Нет, я не купец, не испытатель, – говорит он, – я просто читатель».

Я кладу свои замечания в ум ваш, как свои деньги в ломбард: на имя неизвестного!

Вот это, по крайней мере, ясно и неоспоримо. Не надейтесь же получить более четырех, законных, процентов, – и этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архангельского мещанина Савелия Никитина и ручаюсь, что для русского анекдот этот будет занимателен, по тому уж одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам я менее занимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли, сколько страстей перемолол я своим сердцем? какие чудные узоры начеканил мир на моем воображении? И если б я вздумал перевести с души на ходячий язык свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менее «Записок» Трелонея[32] или «Последней нескромности современницы».[33]

«Ради Смирдина[34], сделайте это поскорее, любезнейший! И тисните в большую осьмушку с готическим заглавием и с виньеткою Жоанно[35]. Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно в роде Видока[36]. Даете вы слово? Скажите ж – да! Полноте упрямячить: снимите долой лень свою!..»

У нас печатная сторона человека всегда будет походить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата в «Жильбазе»; и вот почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. Не мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь внакладе.

Я поднимаю спущенную петлю повести.

Савелий сидел задумавшись на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладело им, и тогда на вопрос: «О чем ты думаешь?» – он мог бы отвечать: «Ни о чем!» по всей правде, потому что все мысли, все ощущения в такие

часы подобны каплям, вдруг улетученным в безвидные пары: они разливны, смешаны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менее погружены были в такое же безотчетное, немое созерцание и внимание природы в себе и себя в природе; в чувство сознания, неразлучного событию, доступное, как я думаю, всем животным.

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей вероятности, неохотно расстался с избой своей, и косой своей, и косой своей любушки, с горелкой и с горелками, первый сломал общее молчание.

– Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человек в корыте по морю плавать, бога искушать! Аль земля-то клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало?

– Молчал бы ты, молчал, – возразил с досадою дядя Яков. – Коли в мореходы пошел, так по земле нечего тужить! Земля! Эка невидаль! Видишь, что выдумал!

– Право, дядя Яков, не я ее выдумал.

– Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней и подумать-то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле мало: за неволю пришлось рулем море пахать. Небось любишь ты и крупчатик[37] съесть, и синий кафтан напялить, и почаявать порой: а разве тонкое сукно да сахар у нас на берегах растут? Ась? Вот и плывут удалые головы за море, по красный товар. В лес не съездишь, так и на полатях замерзнешь.

У глупцов голова ни дать ни взять азиатский караван-сарай[38]: голые стены без хозяина. Мысли приходят в нее, неизвестно откуда; уходят, незнаемо куда. Слово «море» пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину песни. В голове его ничего не было, кроме песен; он затыкнул:

За морем синичка не пышно жила;

Не пышно жила, пиво варивала,

Солоду купила, хмелю займы взяла.

В свою очередь, слово «пиво» чудным сцеплением идей пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, вытирая мечтательную пену с губ своих, сказал:

– Знаешь ли что, дядя Яков! в иную пору мне бы и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в деревне праздник на дворе; так если б удалось престолу свечку поставить, – повиднее бы в море пускаться.

– Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, а печка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охота разбирает. Старики недаром сложили пословицу – кто на море не бывал, досыта богу не моливался. Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках молись – не хочу. Добрые люди с краю земли туда пешком ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать, – чудотворцам Зосиме и Савватию[39] поклониться, к мощам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины, – взглянь, так шапка долой; толщины, – десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали: человеку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое беремя.

– Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

– В том-то и диво, что не утес. Берег как двинской: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей, словно пены; под божьею тенью рай для них. Никто их не бьет, не путает, сердечных. У самых ворот журавли на одной ножке стоят, дикие утята полощутся, и усатые киты играют, со стен подачки дожидаются.

– А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом, дородством будет с царский корабль?

– Кит киту розь, – преважно отвечал дядя Яков. – Есть сажень в десять, есть сажень в двадцать: да это на нашем веку так они измельчились. В старину то ли было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, прошел мимо Соловецкого кит, – конца не видать; разыгрался он хвостом, хвост-то вихрем и вздуло, как парус: не может кит хлеснуть им об воду. А хлеснул бы он, затопил бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольнями. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь напролет слезно молились: «Пронеси, господь, мимо кита-рыбу! Не дай ей ударить ошибом по морю!» И отмолили беду неминуемую: к утру кит провалил мимо, гроза утишилась. Даже в Архангельске слышно было, когда приударили на Соловках с радости в огромные глиняные колокола. «Ну, слава богу! – сказали. – Жива обитель преподобных Савватия и Зосимы!»

– А что, эти глиняные колокола-то обожженные али из сырца? – с недоверчивостью спросил Алексей.

– Не сподобил бог видеть самому: только пономарь мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как благовестить в них станут – заслушанье: что твои райские птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь: к восходу солнышка мы станем в Соловки.

– Если станем! – молвил Алексей.

– А с чего бы нет? Сто двадцать верст спусть рукава перемашем.

– Не хвались, дядя Яков, – сказал Савелий, – а лучше насвистим-ка погодку; видишь, ветерок-то стих, перепал.

Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; засвежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядами, гряды сшибались в крутые валы, и, наконец, море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, весь запад кипел, будто кровью, – верная примета непогоды; когда ж горизонтальные лучи переломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил как стекло, он вспыхивал, как туча молнией, и гас, и темнел, и обрушивался, подавленный другими.

Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не зарыскнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зарифленного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как саван, сидел, уцепившись за борт, и с ужасом смотрел на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его.

– Глянь-ка, глянь, дядя Яков! – сказал он. – Валы-то за нами вперебой гонятся. Страсть, да и только!

– Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались. Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз голова закружится.

– И впрямь так! – примолвил Савелий. – Чем глазеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай воду: вишь, то и знай поддает. Ну, дядя Яков! напрасно я тебя не послушал:

придержаться бы к берегу, а то меня и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да гадал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на облака: словно недобрые люди бродят вокруг да около и промеж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрекнуть.

– Чего доброго, – сказал дядя Яков, – пожалуй, и до нас доберутся, а у нас ворота настезь. Долга нам будет эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплескивались, как волны, и море забушевало, как небо. Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. То черные облака разевали огненную пасть свою, зияющую жалом молний, то белогривые валы, рыча, глотали утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе едва успевали отливать. Паруса уже были убраны, но шквалы хлестали его так сильно, что нагие мачты трещали; он летел, как бешеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали – вот-вот зароется в воду! И вдруг разразился над ними удар грома: огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось – их окатил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослепленные глаза, чтобы не открывать их навеки Савелий с криком: «Господи, прими мою душу!» – выпустил румпель. Алексей уронил лейку...

– Теперь молись! – сказал ему дядя Яков.

Один только Иван не бросил работы: сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решетке приплыла,

Веретенами гребла, юбкой парусила

Савелий не хотел умереть, потому что собирался пожить; Алексей – потому что не успел пожить; дядя Яков – потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел, на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вошел в него, – без малейшего произвола или сожаления. Счастливцев Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?.. А он тонул и пел!

И поверите ли? когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расхохотались песне Ивана и смеялись долго, смеялись наперерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое! Оно скорее всего дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видел и испытал.

Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг. Природа как человек, или, лучше сказать, человек, как природа, в свое лето вспылчив и бурен – на миг. Облака будто растопились молнией в дождь, и месяц, выкупавшись в туче, весело блеснул в тьме неба; лишь на краю горизонта толпились беглецы облака. Они улетали, ропща, огрызаясь, и порой вспыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали отсталых; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, как ратники иных народов после войны со врагами заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть из жил братии и дотратить на них боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились в широкую зыбь, и по ней зазмеились белые полосы пены, недавно венчавшей гребни валов. Они тянулись, подобно строкам на мрачной, бесконечной странице моря, подобно следам поколений на океане жизни. Исчезла самая пена, и синева бездействия подернула лицо моря. Оно дышало уже тяжело и

прерывисто, подобно умирающему, и, наконец, к утру душа его излетела туманом, как будто преображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя.

Светало.

Аргонавты[40] наши из несомненной смерти попали в смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии убедились они, что выражение любовников и подсудимых, будто сомнение хуже смерти, не совсем справедливо, однако ж положение их было вовсе не завидное. Карты нет, компаса не бывало. Да и на кой черт перед ними раскладывать карту, когда нет умения разбирать ее? Один русский шкипер-мореплаватель на вопрос: «Разве у вас нет карт?» – с простодушием отвечал: «Были, батюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в носки играючи!» Компас – иное дело; Савелий знал, как с ним посоветоваться: да та беда, что в свадебных попыхах забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, и перетасовал все румбы и умы наших пловцов в такой баламут, что сам Бюффон[41] со своею теориею ветров проиграл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, по его мнению, то входило в левое ухо, а закатывалось из правого, то в правое, и садилось в левом. Куда же поворотить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось как цветок, зато уж туман клубился – хоть на хлеб намазывай! Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература, и чуть бороздил воду, будто на цыпочках бегая вокруг судна, чтоб не разбудить мореходцев.

Савелий держал совет с дядей Яковом.

– Соловки близко впереди, – говорил Алексей. – Вихорь гнал нас в тыл, и мы бежали, как заяц от беркута.

– Соловки у нас далеко в правой руке, – утверждал дядя Яков – Шквал зашел справа и занес карбас, как сокола, на запад.

– А может статься, и правда! – молвил Савелий. – Откуда ж теперь подул ветер?

– Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой.

– Да теперь уж день, и назло тебе прошлую ночь ветер бежал с берега, словно из острога с цепи сорвался.

– Буря – особь статья, Савелий Никитич! На земле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не в ночь была; вот тепло без очереди и валилось в море, а теперь земля искупалась, попростыла; теперь непременно потянет холодок на берег, оттого что холодок сильнее тепла стал.

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего происходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разрежении воздуха электричеством бурь или по равновесию газов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий убедился. Решили, как изъясняются наши доморощенные мореходы, побрасовать, то есть поворотить паруса, и держать на восток. Вьон зашипел за рулем; карбас поплыл в полветра. Однозвучное плесканье волн и утомление минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому сну: он был хозяин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны других он не спал: зато грезил наяву. На ткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря. Ему виделось, как русая коса Катерины Петровны разделяется на две половины, и дважды обвивает чело ее, и скрывается под гарнитуровый платочек с золотой каймою. Виделись ему и раздернутые ситцевые занавесы брачной кровати и смятая пуховая подушка под розовую

щечкою невесты; виделись ему друзья и приятели, – пируют уж у него на крестинах. Вот забота, как назвать первого сына, кого позвать в кумовья первой внучке. Одним словом, около него резвилась уж целая толпа его нисходящих потомков, и он глядел на них нежно и любовно, как иной сочинитель на свое литературное потомство – мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу с золотым обрезаем, которое, мечтает он, грядущие веки будут нянчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, говорю я, забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что корабль не более как дерево, матросы не более как люди и что «есть земные крысы и водяные крысы», по словам Шекспирова жида Шейлока[42]; а крысы съели польского короля Попеля; так спустят ли они разночинцу?

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были страшно и внезапно. Сажень в пятидесяти от них, на ветре, вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро, свистя, перелетело через их головы. Все вскочили с мест: Иван с знаком удивления, в скобках зевка; Алексей с облизнем от недопитой во сне браги; дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с предчувствием конечного разорения. У всех уши выросли на вершок, у всех ужас вылился единоголосным криком: «Что это?!»

– Не гром ли? – сказал, крестясь, Савелий.

– Не звон ли глиняных соловецких колоколов? – молвил лукаво Алексей.

– Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня[43] в ушах будет звенеть! – крикнул дядя Яков. – Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это англичане.

Целая стая годдемов зажужжала по дорожке, прорванной в тумане ядром, и убедила наших в несомненности слов Якова. Но желанье уйти от невидимого капера, пользуясь мглою, оперило их надежду. Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным, оказал погоню за кормою. Английский куттер[44], взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Огромный гик[45], отброшенный на ветер, выходя из туманов, казалось, хватал их; тень треугольного паруса будто вонзалась в корму: она обдала холодом сердце русских. Жестяная труба загремела: «Boat – ahoo! Strike your colour (бот! сдайся)».

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возможности. Оружия у них – один дробовик да два топора. Между тем куттер напирал все ближе и ближе, заслоня собою ветер.

– Down with your rags! (Долой ваши тряпки!) – кликнула снова труба. – Put the helm up, damn! (Руль на борт, черт возьми!) Strike, or I'll run over and sink you! (Сдайся, или я перееду и потоплю тебя!) – С этим словом куттер начал приводить к ветру, чтобы дать действовать артиллерии. Савелий очень хорошо знал в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза; но он был оглушен мыслию неволи и разоренья, – и когда же? – в самом разгаре надежд, в самом цвету счастья! Он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узелках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна; что вместо объятий Катерины Петровны ожидают его линьки[46] боцмана, вместо матушки-Руси какой-нибудь блокшиф[47], исправляющий должность тюрьмы! Ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и бац – прямо в борт куттера!

– Fire! (Пали!) – раздалось на нем.

Пламя канонады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли карбас, и, прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Сопротивление было бы безумством. Судьба свершилась. Савелий со всей своею командою – военнопленный; его карбас вместе с грузом – добыча английского капера, признанного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом, *lettre de marque*, и

чугунными ядрами для законного грабежа врагов Великобритании.

Давно уже, и много, и красно писали гг. публицисты противу корсарства, приватирства[48], пиратства, каперства, или просто-напросто морского разбоя, прикрытого флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые не могли сами грабить, а не те, которые смели грабить, то все совещания ученых и обиженных кончались обыкновенно как совет мышей – не находили молодца, который бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал никаких прав, кроме тех, что мотаются как темляк[49] на шпаге, – Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диалектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серьезно и остроумно доказывал, что морское народное право – вовсе не право; что не сходно ни с европейскими нравами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных купцов враждебной нации на море точно так же, как частную собственность мирных граждан на берегу; что, платя за съестные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже в городе, взятом в бою, не бесчеловечно ли, не унижительно ли отнимать то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Неужели соленая вода до того изменяет краску понятий, что презрительное и незаконное на суше становится на море похвальным и законным? Приговаривался он, что каперы и крейсера должны ограничиваться лишь осмотром купеческих судов и конфискациею одних военных снарядов. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переставали забирать, ловить, грабить все французские и союзные Франции суда.

После Тильзитского мира очередь упала и на нас, грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за тридорого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе. Зато мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо кофе пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич пленник. Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, до того, что на боках его и его товарищей напечатался не один параграф морского права, покуда оно переселилось на палубу его великобританского величества, эту плавучую почву *habeas corpus*[50], ступив на которую, каждый чужеземец пользуется неограниченной свободой носить свой нос по будням и праздникам невозбранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, который имел простоту отдаться добровольно их гостеприимству и великодушию; можете судить, каково приняли они русских мещан, дерзнувших убежать от их правоты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под флагом Георга III[51]. *Le cas etait rendable* – это висельный случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы досталось проплясать джиг[52] под концом реи, если б он попался английской дисциплине после обеда; но, к счастью, пленение карбаса произошло в первую бутылку дня[53], и потому капитан капера удовольствовал гнев свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых браней, *standart jurements – God damn your eyes!* с придачею не в зачет нескольких: *You scoundrels, ruffians и batbed dogs!* (мошенники, бездельники, бородатые собаки!) Савелий и дядя Яков, которым английские приветствия приелись, как насущные сухари, находили это в порядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высвободить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с ответом прямо к лицу капитанскому; Иван поплевывал вдвое чаще.

Но в сущности англичане не злой народ, и если вычесть из них подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и гордую нетерпимость всего иноземного, вы найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце англичанина – кокосовый орех: надо топором прорубиться до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза, а сок освежительный. По внешности он действует сообразно со своими угнетательными, корыстными, колониальными законами; дома – по душевному уставу. Таков был и краснощекий, толстопузый капитан Турнип, командир куттера, – груб с лица, радушен с подбою. Раздраженный сопротивлением ничтожной русской раковинки, он грубо принял гостей своих; но когда дело кончилось удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через борт в трюм его, когда и сама верхняя часть карбаса изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда он взглянул на бумаги

Савелья, ограбивши прежде все дочиста, – это по-судейски, люблю молодца за обычай, – и объявил, что карбас был законный приз, улыбка разутюжила сафьянное лицо его; нахмуренные брови раздалились, расступились, и он, ласково ударив Савелья по плечу, бросил ему самое засмоленное из приветствий, расцветающих на палубе:

– Heave a head, boy, and never fear! (Подыми голову и ничего не бойся!)[54]

Савелий, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски. Савелий был сердит, а потому без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это ободрение английской работы:

– Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души.

– Never mind! (Забудь это!) – возразил с улыбкою Турнип.

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань.

– Скорее черт забудет взять твою душу, чем я забуду счастье, которое ты у меня отнял!

– Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим некрещеным напитком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? Watch, boy, did I not?[55]

– Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такую обглоданную жизнью. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил ты мой карбас, утопи же и меня.

– Если утопить тебя в море, оно сделает из тебя солонину рыбам: тебя жаль! Если б утопить тебя в водке, она превратится в настойку глупости: водки жаль! Ты, приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в табакерке: я не могу запретить себе уважать такую отвагу. Ну, скажи, за что ты сердись? Будь ты сильнее меня, ты сделал бы то же со мною, что я с тобой! Не лучше ли будет прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро холодной воды, и утопить твое горе, вливши в тебя стакана два рому?

Хмель – чудесная смазка для удовольствия и горя: он так же плотно лепит к сердцу расписанный изразец первого, как зубристый булыжник второго. Савелий долго отнекивался пить, отталкивал приветно подлетающий к губам его стакан с жидким забвением; наконец глотнул, морщась; еще и еще разик, и вот, с каждым глотком, горе его таяло, как сахар в пунше, и наконец он подумал: «Покуда сам жив, счастье не умерло!» И он весело взглянул на божий свет, будто выбирая, с которого края начать его. Он отломил каждому из своих товарищей по кусочку собственной бодрости и протянул к капитану руку.

– Так бы давно! – сказал тот. – Будьте смирны да работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, русские подымутся с нами заодно против этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидите с своей родиной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает!..

«А Катерина Петровна? – подумал Савелий со вздохом. – Женщины тают скорее снегу».

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился ходить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни.

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораблях – на индейцах, Indianen, как выражаются англичане. Потом состоял он на полужалованье; потом ему отказали и в этом за долгую неявку. Он, изволите видеть, рассудил, что лучше есть пряности и сладости, чем перевозить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал, однако ж, что вся сладость супружеского чина состоит в картофеле и куске говядины. Это так его тронуло, что он с горя потолстел, а для рассеяния и барышей пустился в торговлю. Коварная стихия, то есть море, а



не жена его, однако ж, не сманила бы его самого с берега, если б несчастным случаем часть его имущества в товарах не попала в руки французскому каперу. С этой минуты он от собственного лица объявил войну Наполеону и, движим любовью к отечеству и к своему карману, решился вознаградить убыток тем же путем, каким он пришел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое судно, нанял экипаж, купил себе четыре пушечки, – ведь в Англии они продаются на толкучем рынке, и подчас вы можете купить целую батарею у носячего, – испросил у правительства билет на представление войны в миньютуре и пустился пенить море. Ему удалось в Канаде захватить какой-то бот с контрабандою да несколько несчастных рыбачьих лодок. Это его произвело в собственном мнении в герои красного флота[56], и он, заслышав, что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море для поисков над шведами и русскими, решился идти вслед за нею, как чакалка за тигром. Он расчел, что шведские китоловы и русские мещане ему по силам более, чем французские корсары, и что, врасплох нападая, скорей можно поживиться добычей. Он снялся с якоря и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею.

Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и не был искренним с обеих сторон, однако ж все моря, которые считают англичане своими столбовыми и проселочными дорогами, high-ways and by-ways, были замкнуты для нас живою цепью кораблей. Крейсера их шныхарили в Балтийском море и в 1811 году показались в Белом море, с набожным намерением разграбить Соловецкий монастырь. Сведая, однако, что там усилены гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и возвратились. Один только бриг проник до самой Колы[57], однако ж спешил улизнуть оттуда с небольшою добычею за добра ума, когда был застигнут бурей, разлучен со своим флагманом и наткнулся на карбас Савелья. Теперь он правил бег свой восвояси, и уже три дни протекло со дня пленения карбаса. В эти три дни капитан Турнип обжился с новобранцами своими. Капитан Турнип был неплохой моряк по знанию моря, но очень плохой по своей лени. Женатая жизнь избаловала его: неохотно расставался он с застольем и постелью. Крутой пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется, с примесью мадеры и грога, первым блаженством мира: он не мог вообразить идолов иначе как в виде соусника, бутылки или пуховика. Вследствие сего он гораздо более любил проводить время в уютной каюте своей, чем на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он привык к домовитой, к порядочной жизни: он был человек женатый.

Впрочем, наш холостой XIX век также прихотлив, будто женатый вельможа. Comfort[58] – надпись его щита. Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, для приятелей дрожки без одолжения; зато выдумал и сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешеходов, ошейники с рессорами для собак, резиновые корсеты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп из костей для бедных, для богатых нетленный суп, который выдержит потоп, не потерявши вкусу, выдумал жаровню, которая жарит бифштекс в кармане, и ватерклозеты для спален. Выдумал он... Да чего он не выдумал! Все – от машины растирать камни в пузыре до французской бритвы, гильотины, которая вам снимает голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и до многих других этого рода усовершенствий. Скажите, можно ли быть заботливее, предупредительнее нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце старинное, про нестареющую природу, про наслаждение бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности грязного белья?.. Вздор, сударь! Я люблю искусства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свете газовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, в перчатках с пружинами, с резиною спиною, с сердцем, не промокающим даже от слез. Я русский своего века, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибусы... Я люблю comfort. Ваш покорнейший.

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и зачумить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не менее моего и, по обыкновению своему, в третий вечер отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодрствовать, а русских пленников спать на голых досках, под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без метафоры. В самом

деле, ночи севера очаровательны: это день при лунном свете, это перелив зари вечерней в зарю утреннюю. Опаловые небеса чуть блещут звездочками, и, когда они роняют лучи свои в синие волны, резвушка волны ловят их, отнимают друг от друга, делят, дробят их искры, хотят затаить в своем зыбком хрустале и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко пронзает чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль, по нем разлитую, глубоко погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от взора небеса со своими алмазными цветами, со своей радугою вокруг месяца, с причудливыми образами облаков есть воображение, а море с ропотною пучиною своею, с обломками кораблекрушений, с каменистыми растениями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим блеском сверху – память человеческая?

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, но они совершались в нем без его ведома. Тоска по отчизне грызла его сердце, тоска, которую превзойдет разве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите птичку под воздушный насос и скажите им: «Живи!» Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он чахнет, скучает. Не спалось Савелью на новоселье. Он тихо поднял голову...

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были вздуты; куттер, склонясь набок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его серебряными колосьями. Всплески звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, напевала сон на все живое. Покорный этому призыванию, рулевой дремал над румпелем и только повременно, по привычке ворчал: «Steady! Steady!» (Проворнее!) Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; остальные все спали в койках, в своей каюте, внизу.

И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелья и проструилась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнул на ухо: «Овладей куттером!» Он толкнул дядю Якова: тот проснулся.

– Видишь ты? – сказал он шепотом, показывая на спящих англичан.

– Вижу, – отвечал Яков, оглядевшись.

– Хочешь ли ты свободы? – спросил Савелий.

– Хочешь ли ты смерти? – спросил, в свою очередь, Яков.

– Смерть – та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся.

– Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку-Русь, я тебя не выдам. Только подумай – где мы и сколько нас?

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных [59] орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо тихо, тихо.

– С богом! – произнес дядя Яков.

С двумя остальными русаками нечего было советоваться: им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот вполглаза взглянул на него, подернул штуртрос[60] и пробормотал свое: «Steady! Steady!» Оно было последним. Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шуму, схватились бороться и, только раненные, уступили силе. Голодная

пучина с шумом приняла их в свое лоно, но не вдруг поглотила их. Жалобный, пронзительный крик то возникал, то смолкал над волнами, и наконец все слилось в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на отверстия решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять кровлю своей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, утроенный мадерою.

– Бой! – закричал он грозно, услышав необычайную суматоху на палубе. – Бой! – повторил он с приложением сотни браней; но бой не являлся, хотя заклинания капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада. Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего знаком восклицания звательному падежу – бой! Он давал ему невероятную быстроту движений. «Бой, принеси бутылку! Бой, кликни боцмана!» – и пинок в зад, и он взлетал по лестнице соколом. Да! пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя – петля на конце реи.

Видя, что бой не идет за получением своей порции, капитан в гневе вскочил с постели и кинулся к дверям; они были заперты.

– Что это значит?! – вскричал он, потрясая задвижками.

– Это значит, что ты мой пленник, – отвечал Савелий сквозь люк. – Половина твоих людей в море; другая забита в палубе. Сдайся!

– Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробурлаваю дно и потоплю тебя! – кричал Турнип.

– Я зажгу судно и взорву тебя на воздух, – возразил Савелий.

Но судно не было ни потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назад и тем же полуветром бежало к Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитанским люком. Двое других стояли на часах, при люке матросской каюты, одному позволялось спать. Все они были обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменился или скрепчал: но он дул ровно и постоянно, и Алексей, весело поглядывая вперед, охорашивался и говорил: «Знай наших!» Тишина прерывалась только порой бранью запертых в клетке англичан да заклинаниями капитана. Наконец и он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной заряд рому, заснул, поверженный, но не побежденный.

На другой день русские сделали печальное открытие, что у них нет ни крошки сухаря: все съестное хранилось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, чем добежать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. К счастью, случай уравновесил бедствие обеих воинствующих наций. Англичане незадолго выкатили на палубу остальные бочки с водою, для помещения под кровлю нежной добычи. Начались переговоры.

– Дайте нам хлеба! – говорили русские.

– Дайте нам воды! – говорили англичане.

– Не дадим, – отвечали англичане, – покуда вы нас не выпустите.

– Не дадим, – отвечали русские, – сдайтесь.

И парламентарии расходились от люка.

Но голод и жажда уладили перемирие. Народное честолюбие замолкло перед воплем желудка: мена учредилась. За каждый кусок сухаря и солонины, данный в обрез, отмеривались кружки воды на полжажды.

– Я бы желал, чтоб ты подавился этим куском! – говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отверстие люка.

– Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду! – говорил Савелий, подавая ему мерку не винной влаги. – Авось бы ты с этого поста поумнел!

– Ты разбойник! – ворчал капитан.

– Я твой ученик, – возражал Савелий, – утешься! Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, если б был сильнее. Разве это не твои слова?

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких утешений.

Куттер плыл да плыл к Руси.

Куттер этот был забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже *status in statu* [61], но *status super statum*[62], государством верхом на государстве, – победители без побежденных и побежденные, не признающие победителей; это было два яруса вавилонского столпа[63], спущенные на воду. Внизу ревели: «Да здравствует Георг III навечно!» Вверху кричали: «Ура батюшке царю Александру Павловичу!» Английские годдемы и русские непечатные побранки встречались на лету. Это, однако ж, не мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и вот завидели наши низменный берег родины, и вот с полным приливом, с полным ветром вбежал он в устье Двины, не отвечая на спросы брандвахты, несмотря на бой бара[64]. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, что ему простят все упущения форм, катил без всякого флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенские катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя его. Таможня к брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд – англичанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить город. Конные объездчики поскакали стремглав в Архангельск, и тревога распространилась по всему берегу прежде, чем призовой куттер показался.

Вооруженная шлюпка, однако ж, встретила его на дороге, опросила, поздравила, и суматоха опасений превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос в гору. Все кумушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам – время ли на двор заглядывать! – и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево; принуждены были сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда на показ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды.

Громкое «ура» с набережной встретило приближающийся куттер; шапки летели в воздух, чеботы в воду; в порыве народной гордости народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не рехнулся: он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери Турнипа.

– Сдайся! – кричал он. – Мы уж в Архангельске.

– Не сдамся бородачу! – отвечал тот.

Когда причалили и бросили сходень, губернатор первый встретил Савелья, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брызнули из глаз его.

– Ваше превосходительство!.. – отвечал он. – Ваше превосходительство... я русский.

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая:

Rule, Britania, the waves!

(Владей, Британия, морями!)

Все смеялись.

Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки: он пошел в церковь со своею милою Катериною Петровной. Государь император, узнав о подвиге Никитина, напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре[65], прислал архангельскому герою знак военного ордена и приказал продать в пользу его с товарищами груз призового капера.

Это не выдумка, Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор; и если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, с георгиевским крестом на груди, – поклонитесь ему: это Савелий Никитин.

## Примечания

1

В основу повести положен подлинный исторический факт: Матвей Герасимов, русский хлеботорговец, совершил в 1810 году рейс из Архангельска в Норвегию на парусном судне. В пути команда судна была захвачена в плен английским кораблем, но сумела освободиться и привести корабль к родным берегам.

2

Корабль, корабль – надежда на приз! Какой он нации, под каким флагом? что говорит зрительная труба? Он идет по волнам как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихии. Кто побоится огня, воды, чтоб только пройтись властелином по этому многолюдному деку? (англ.). – Байрон. (Перевод автора. – Ред.)

3

Слово корабль... произвожу я от короба... – По мнению ученых, слово «корабль» греческого происхождения.

4

военный (англ.).

5

В насмешку англичане называют североамериканцев уапкее.

6

Штын-болт – особый морской узел.

7

Шитик – мелкое речное судно.

8

Ситка (Ситха) – город на Аляске, ныне Ново-Архангельск.

9

Виргинский табак – нюхательный табак, выращенный в Виргинии (Сев. Америка).

10

...кушала сочинителей всех темных пестрых я голубых сказок... – Видимо, здесь имеется в виду В.Ф.Одоевский (1804—1869), автор книги «Пестрые сказки с красным словцом» (1833).

11

Соломбол (Соломбал) – остров в устье Северной Двины.

12

Противоскорбутный – от нем. скорбут – цинга, болезнь, развивающаяся вследствие отсутствия в пище витамина С.

13

Сороковой – то же, что сорокаведерный.

14

...летописи и несомненное Несторовой... – Нестор – русский писатель конца XI – нач. XII в., составитель летописного свода «Повести временных лет» (ок. 1113 г.).

15

Кювье Жорж (1769—1832) – французский естествоиспытатель, автор известных трудов по анатомии, палеонтологии и систематике животных.

16

...не делают фантастических путешествий... – Речь идет о новеллах О.И.Сенковского «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса» (1833).

17

...китайчата шаровары... – из «китайки», хлопчатобумажной ткани, первоначально привозившейся из Китая.

18

Топсель – косой треугольный парус.

19

...на кораблях купца Брандта... – Брандт Карстен (ум. в 1693 г.) – голландец, корабельный мастер, первый наставник Петра I в морском деле.

20

Шкот – снасть для управления парусом.

21

Шкипер – командир грузового судна.

22

...за ней приданое не рогато – невелико (нет рогатого скота).

23

Заговенье – последний день перед постом, когда можно употреблять скоромную (мясную) пищу.

24

Миткаль – самая простая хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец.

25



Капер – торговое морское судно, вооруженное частным владельцем для военного грабежа и нанесения вреда неприятелю.

26

...тогда с англичанами была война... – В 1807 г. Россия, по условиям Тильзитского мира, прекратила торговые отношения с Англией, присоединившись к континентальной блокаде.

27

Альциона – чайка.

28

Диез – нотный знак повышения звука на полтона.

29

гладких (фр.).

30

Мартингал – в конской упряжке ремень, идущий от удил к нагруднику для направления головы лошади в нужное положение.

31

Шлих-цигель, шпаниш-рейтер – особые аллюры (способ бега лошади) при верховой езде.

32

«Записки» Трелонея – Трелоуни (Трелонет; 1797—1881) – английский писатель, друг Байрона.

33

«Последняя нескромность современницы» – вышедшие в 1827 г. записки французской авантюристки де Фонье.

34

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) – книгопродавец и книгоиздатель.

35

Жоанно Тони (ум. в 1853 г.) – французский гравёр и рисовальщик.

36

Видок Эжен-Франсуа (1775—1857) – французский сыщик, в прошлом уголовный преступник, автор «Мемуаров», частично переведенных на русский язык в 1820—1830 гг.

37

Крупчатик – хлеб из лучшего сорта пшеничной муки.

38

Караван-сарай – в Азии – постоянный двор со складом для караванных товаров.

39

Чудотворцы Зосима и Савватий – монахи Кирилло-Белозерского монастыря, основатели Соловецкого монастыря (в 20-30-х гг. XV в.).

40

Аргонавты – древнегреческие герои; совершили поход на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном.

41

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788) – французский ученый-естествоиспытатель.

42

Шейлок – герой трагедии В.Шекспира «Венецианский купец» (1596).

43

Касьянов день – 29 февраля. Христианский святой Касьян, по поверьям, имеет недобрый взгляд, в отличие от святого Николая.

44

Куттер – катер.

45

Гик – вращающееся рангоутное дерево, упирающееся в мачту, растягивающее нижнюю кромку паруса.

46

Линь – тонкая веревка.

47

Старый корабль, без вооружения, в порте стоящий.

48

Приватирство – морской разбой.

49

Темляк – петля из ремня на рукоятке шпаги.

50

Акт о неприкосновенности личности (лат.).

51

Георг III (1738—1820) – английский король.

52

Джиг (джига) – быстрый английский танец.

53

В морских заморских романах, я чай, не раз случалось вам читать: «четвертая склянка», «осьмая склянка». Это мистификация; это попросту значит, что моряки хватили три бутылки, что они пьют уже восьмую. Часомерие это, самодвижное и самозвонное, весьма удобно и

здорово: в полдень опрокидывают они все бутылки разом, и это называется: проверка хронометров. – Ученое замечание.

54

Heave a head – в морском значении почти то же, что у нас: по местам! смирно! – то есть будьте внимательны, слушайте.

55

Разве нет, мальчик? (англ.)

56

...герои красного флота... – корсары, морские разбойники; во времена римлян и позднее разъезжали в судах, украшенных в пурпур и золото.

57

Кола – город, расположенный на слиянии рек Кола и Тулома на Кольском полуострове (недалеко от Мурманска).

58

Комфорт (англ).

59

Абордаж – сцепка судов для рукопашной схватки.

60

Штур-трос – трос для вращения руля.

61

государство в государстве (лат.).

62

государство над государством (лат.).

63

...два яруса вавилонского столпа... – Вавилонское столпотворение – по библейскому мифу, попытка построить в Вавилоне башню до небес.

64

Бар – наносная мель в устье реки.

65

...подвиг Долгорукого при Петре... – Долгоруков Яков Федорович (1639—1720) – государственный деятель при Петре I; в битве под Нарвой в 1700 г. был взят в плен шведами; в 1711 г. вместе с товарищами захватил шхуну и приплыл в Таллинн (Ревель).